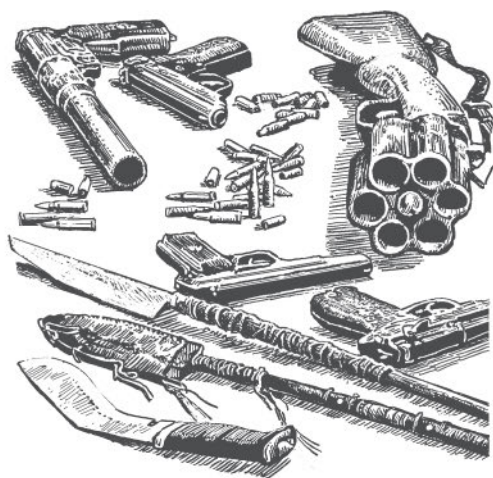




АНДРЕЙ ЛАЗАРЧУК



Опоздавшие к лету



Санкт-Петербург

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-445
Л 17

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Сергея Шикина

Иллюстрации в тексте и на обложке
Сергея Григорьева

ISBN 978-5-389-14981-6

© А. Лазарчук, 2018
© Оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2018
Издательство АЗБУКА®

Мы лежим под одною землею,
Опоздавшие к лету,
Не успевшие к свету пробиться.

Токогава Ори

Часть первая
Колдун



Здесь лес раздавался вправо и влево, открывая невысокому северному солнышку зеленый сочный луг с медлительными пятнистыми коровами на нем, стога запасенного впрок сена и изгородь, широко обнесенную вокруг дома, добротного и двухэтажного, где жили Освальд и отец Освальда, а по другую сторону дома тихо стоял пруд, светлый по утрам и непроглядно-черный после полудня, когда на воду надвигалась тень тысячелетних дубов, и дальше, в вечной уже тени тех дубов, лежало тяжелое замшелое тело плотины, останавливающее на время бег воды, и вода, прокатываясь по обросшему зеленым нежным шелком желобу, лилась в ковши мельничного колеса и в тех ковшах тихо спускалась вниз, в постоянную прохладу и полумрак у подножия плотины, в заросли осоки, мокролиста и конского щавеля, и дальше продолжала свой бег незаметно, кроясь за ивняком и черемухой, пока, слившись с другими такими же ручейками и речками, напитавшись подземными ключами, не обрела силу и имя реки и, уже с силой и именем, достойно входила в спокойную и полноводную в любое время года реку Лова, разделявшую пополам уездный город Капери — город, в котором есть все, даже железная дорога, и по понедельникам и четвергам от перрона отходят составленные из пассажирских и товарных вагонов поезда, идущие в портовый город Скрей, где у причалов стоят черные и белые пароходы со всех морей, а по средам и субботам поезда возвращаются обратно, и тогда на вокзале становится шумно и тесно, и все такси города Капери собираются на привокзальной площади, дымя и пофыркивая, и развозят приехавших по домам и гостиницам, а если кому-то надо попасть в близлежащие села и хутора, то им никогда не отказывают, но берут довольно большие — по здешним меркам — деньги; с хуторов же приходится

добираться своим ходом, и отец Освальда, сложив в деревянный, с навесным замочком чемодан кой-какие пожитки, зашив деньги за подкладку и сунув в заплечный мешок каравай хлеба, копченый окорок и четверть домашней можжевелевой водки, пешком дошел от дома до хутора Бьянки Пальчековой и там договорился с Бьянкой, что ее работник, китаец Лю Шичен, за два динара довезет его на бричке до вокзала, а на обратном пути прихватит ветеринара, потому что у свиней третий день понос; Лю был молчалив, и они катили милоу за милей, ни о чем не говоря, и отец Освальда с грустью смотрел, как остаются позади родные места и начинаются неродные, — граница их была четкая, и даже сердце остановилось и пропустило два или три удара, когда ее пересекали; на вокзале он сел в поезд, и Лю был последним из знакомых Освальду людей, которые его видели.

Через две недели почтальон Бруно принес Освальду письмо. В письме отец просил прощения за свой уход и за то, что забрал большую часть наличных денег. Дальше он извещал Освальда, что купил полбилета на пароход «Глория», идущий на Таити с грузом цветных ситцев и стеклянных бус; оставшуюся неоплаченной половину билета он будет отрабатывать в дороге, нанизывая бусины на нитки. Освальд прочитал письмо и заткнул его за висящую в комнате отца картину в рамке: пальмы, прибор и голые негритянки, купающиеся в приборе.

К Освальду часто заглядывал сын старосты, Шани, с ним Освальд когда-то учился в приходской школе, потом, в тринадцать лет, Освальд стал работать с отцом на мельнице, а Шани отправили в гимназию в Капери, но из последнего, выпускного класса его выгнали без аттестата — за неуспеваемость и чересчур откровенную связь с уборщицей. Теперь Шани приторговывал в лавке своего дяди, ездил за товарами по многим местам, имел много приятелей и подружек, но Освальд чем-то его притягивал — Шани рассказывал ему свежие сплетни и все порывался сводить к девкам, но Освальд упирался и мотал головой. Идти к девкам он боялся. Он вообще их боялся.

Однажды Шани пришел и сказал, что объявлена мобилизация и что завтра в село приезжает мобилизационная команда и медицинская комиссия, будут всех проверять, и чтобы не попасть под ружье, надо дать хабара. Освальд отдал Шани десять золотых десятков и серебряные часы-луковицу с боем. На следующий день, ближе к вечеру, он приехал в село. На площади перед управой былолюдно и шумно. Стриженные парни толпились в обнесенном веревкой с красными флажками загончике, по углам кото-

рого стояли часовые с короткими ружьями. Комиссия работала в пятнистой брезентовой палатке с большим красным крестом. Освальда и еще девятерых парней впустили внутрь и заставили раздеться догола. Им заглядывали в рот и в задницу, ощупывали руки и ноги, били по коленкам резиновым молоточком, выворачивали веки, что-то шептали, и надо было повторить. Потом всем раздали картонные квадратики. На картонке Освальда было написано большими буквами: «К ВОИНСКОЙ СЛУЖБЕ НЕПРИГОДЕН». А ниже: «Плоскостопие».

Шани ждал его у входа. Воздух вне палатки был необыкновенно вкусный, как вода в жаркий день.

— Нормально? — спросил Шани.

— Ага, — сказал Освальд. — Пойдем пить водку.

— А может, к девкам? — предложил Шани.

— Посмотрим, — сказал Освальд, хотя знал, что не пойдет.

— Эх ты! — сказал Шани. — Ни в пичку, ни в армию. Какая от тебя польза для человечества?

Этого Освальд не знал.

Они напились как свиньи. Последнее, что Освальд помнил, — это как они с Шани, поддерживая друг друга, дурашливо махали вслед уходящей колонне.

Через три дня объявили, что война началась. У Освальда прибавилось работы: все хотели поскорее смолоть остатки прошлого урожая. Были дни, когда возле мельницы собирался табор телег в сорок. Освальд нанял старого глухонемого Альбина, умевшего все, чтобы он работал ночами. Для освещения приспособили динамо-машину и фару от велосипеда. Сельская управа каждый день отряжала трех мужиков для погрузки-выгрузки. Потом пошло зерно нового урожая. Так продолжалось до декабря, до ледостава. За зиму от отца пришло еще два письма, короткое и длинное. В коротком он писал, что жив и здоров, чего желает и Освальду, что сейчас темно и вокруг океан, что два дня назад вышли из Танжера, засыпав бункера углем по самые бимсы, и теперь бояться нечего. Во втором, длинном письме он рассказывал про странный остров в Индийском океане, остров, вечно окруженный туманами и поэтому попавший не на все карты. Люди там живут рослые, смуглые и красивые, и все поголовно счастливы, потому что такой мудрой системы правления нет нигде: раз в полгода все жители, достигшие четырнадцати лет, участвуют в лотерее, где разыгрываются королевский титул, титулы советников и придворных, жрецов и судей, а также все прочие

сколько-нибудь заметные места в государстве, вплоть до сутенеров, которые там не преступники, а уважаемые предприниматели, потому что проституция на острове является важнейшим источником поступления иностранной валюты; а чтобы придать остроту лотерее, подсыпать в это дело перчику, разыгрывается еще и десять мест в камерах приговоренных к смерти; как правило, новый король, взойдя на престол, объявляет им помилование, но случается, что его отвлекают другие дела... Однажды, в канун Рождества, — Освальд уже встал и начинал топить печь — донесся откуда-то многоголосый звенящий гул. Освальд оделся и вышел из дому. Светало. В небе над ним, ярко высвеченные не взошедшим еще солнцем, вились самолеты. Их было видно очень хорошо: три больших восьмимоторных ползли медленно-медленно, а вокруг них кружились, как пчелы, десятка полтора маленьких. Потом, перекрываясь и накладываясь, стали доноситься другие звуки: будто там, в небе, рвали на полосы крепкие простыни. Два маленьких самолетика закувыркались и упали далеко отсюда. Потом еще один плавно пошел вниз, волоча за собой тонкий розовый шлейф. Самолеты были теперь точно над домом. Освальд подумал, что если сейчас какой-то из них упадет, то упадет прямо сюда, на него. Захотелось убежать, но убежать он не стал — бесполезно. Несколько маленьких — пять или шесть — отошли в сторону, развернулись и бросились на большие. Другие маленькие оказались на их пути, снова раздался треск разрываемых полотнищ, и сразу четыре самолетика, загоревшись, стали падать в разные стороны, рисуя в небе огромный светящийся крест. Наверное, кто-то из нападавших прорвался все-таки к большим самолетам, потому что крайний слева стал оставлять за собой в небе след, все более густой и темный, и через несколько секунд он полыхал весь, как сарай на ветру; он еще шел следом за остальными, но потом вдруг завалился набок и, скользя, как с горы, рухнул со страшным, сотрясшим землю грохотом, и там, где он упал, встала багровая, клубящаяся туча. Только потом Освальд заметил, что в небе, под черным следом его падения, неподвижно висят штук десять маленьких белых кружков. Два оставшихся больших самолета удалялись, рев их моторов замирал, и маленькие самолетики уже не вились вокруг них, а ровненько держались сзади и по одному подлетали к ним и будто бы прилипали снизу к огромным распластанным крыльям. Освальд еще потоптался на крыльце, ожидая продолжения увиденного, но ничего больше не было, и он вернулся к печи. Через

час в дверь забарабанили. Освальд осторожно посмотрел в незамерзший уголок окна: у изгороди стояла знакомая полицейская машина, и тот, кто стучал в дверь, был в полицейской шинели, лица не разобрать. Освальд отпер дверь. Это был старший полицейский Ян.

— Входи, — сказал Освальд.

— Видел? — спросил Ян. — Как они нас...

— Видел, — подтвердил Освальд.

— Замерз как цуцик, — сказал Ян. — Печка в машине ни к черту.

— Зови всех, — сказал Освальд. — Погреетесь.

— Да ну их, — сказал Ян. — Там у меня эти... гражданская гвардия. Пердуны, одним словом. И с ними — парашютистов ловить. Смех, да и только. Не знают, с какого конца винтовка стреляет. Погреться дашь? — Он звонко щелкнул себя по горлу.

Освальд принес полный, до краев, стакан можжевеловой и толстый ломоть ветчины. Ян выцедил водку, прослезился, занюхал ветчиной; потом, разрывая ветчину пальцами, стал есть.

— Бьянкина свининка? — спросил он, жуя.

— Ее, — сказал Освальд.

— Умеет, ведьма, — сказал Ян. — Что умеет, то умеет. Теперь долго такой свининки не будет.

— Почему? — спросил Освальд.

— Так один самолет прямо на ее свинарник упал. Вот визг-то небось было! Все вперемешку изжарились: и летчик, и свиньи, и китаец. Такое, понимаешь, рагу.

— И китаец сгорел?

— И китаец. Он там, со свиньями, ночевал. С ума сойти — спать в свинарнике. Я бы никогда не смог.

— Я бы тоже.

— Ладно, пойду я. Хорошая у тебя можжевеловка. Ты, главное, никого не пускай. И ставни пока на засовах держи. Ружье у тебя есть?

— Нет.

— Дать?

— Не надо, я не умею.

— Я к вечеру еще заеду.

Весь недолгий день Освальд как неприкаянный слонялся по темному дому. Вечером Ян не приехал. Ночью Освальда донимали то шаги, то стук в окно; он вскакивал, дрожа, и ждал, когда

звук повторится; звук не повторялся. Через день на маленькой белой танкетке приехал офицер в черной форме и велел Освальду ехать с ним. Он привез его на лесную поляну, где около костра грелись три солдата, а на пятнистом брезенте посреди поляны лежали пятеро, раздетые до белья. Четверых Освальд не знал. Пятым был Ян. У всех на груди напротив сердца были серо-коричневые круглые пятна с черной дырочкой в центре.

— Он был у тебя? — спросил офицер Освальда.

— Да, — сказал Освальд. — Два дня назад.

— Водкой его поил? — спросил офицер.

— Дал с собой, — сказал Освальд. — А что?

Офицер, не размахиваясь, ударил его по скуле.

— Положить бы тебя шестым рядом с ними, — мечтательно сказал он, покачиваясь на скрипучем снегу с пяток на носки. — Теперь у них машина, форма полиции, форма гражданских гвардейцев, винтовки, гранаты... Много водки дал?

— Литр, — сказал Освальд и заговорил торопливо, захлебываясь концами слов: — Так ведь, господин офицер, как полицейскому-то не дать, когда просит, это же невозможно совсем, это же вовсе никак невозможно, и на опохмелку даем, и просто так, а уж в мороз-то, само собой, отказать нельзя, вы же понимаете, господин офицер...

— Дорого твой литр отечеству обошелся, — сказал офицер ледяным голосом. — Ладно, иди.

— Домой? — не поверил Освальд.

— Домой, домой, — отмахнулся от него офицер. — С глаз моих!

— Вот спасибо, — сказал Освальд, пятясь и кланяясь, — вот спасибо-то...

Пешком до дому он добирался полтора часа и основательно замерз: лицо, руки, ноги. Отогрелся он быстро, но никак не мог унять дрожь. Все становилось как из киселя, едва он вспоминал глаза офицера, — а вспоминал он их тем чаще, чем сильнее старался забыть, — глаза желтые, как у кошки, воспаленные — то ли с похмелья, то ли от бессонницы, — с крохотными зрачками, неподвижные — глаза убийцы, понял Освальд. Ему стало еще страшнее. Не убежать, не спрятаться — найдет, догонит. Не задобрить, не купить... В какой-то момент он поймал себя на том, что встает и одевается, чтобы куда-то идти. Потом он оказался у мельницы, дверь почему-то была открыта, горела керосиновая лампа, и в дальнем углу, за жерновами, на связках пустых меш-

ков сидели двое. Освальд обмер, но один из сидящих повернулся так, что осветило его лицо, — это был Альбин. Кричать на него и ругаться было бесполезно. Второй был незнакомый, в стеганке и ватных брюках, и в полутьме Освальд не сразу разобрал, что это китаец.

— Лю? — спросил Освальд, взглядываясь в него. — Ты что тут делаешь?

Альбин замычал и замахал руками перед лицом Освальда, а потом стал пальцем выводить на полу буквы. Это был не Лю, а его младший брат, он приехал к старшему, но теперь, когда Лю убило, ему некуда идти, жить же там, где убило Лю, он боится. Пусть он помогает на мельнице.

Это было и хорошо, и не очень. Освальд подумал, прикидывая все расходы и выгоды, потом сказал:

— Хорошо.

Альбин залопотал, захопал китайца по плечу, заулыбался. Китаец тоже робко улыбнулся.

— Понимаешь по-нашему? — спросил Освальд, выговаривая слова медленно и четко.

Китаец посмотрел на Альбина. Альбин замычал и завертел головой.

Тогда Освальд показал на жернов и отдельно сказал:

— Жер-нов. Жер-нов.

Показал вокруг и сказал:

— Мель-ни-ца.

Показал на Альбина и сказал:

— Аль-бин. Мас-гер.

Показал на себя и сказал:

— Хо-зя-ин.

К весне китаец знал три десятка слов и понимал еще столько же. Он постоянно что-то делал; и в доме, и на мельнице теперь был идеальный порядок. А когда сошел снег, он с разрешения Освальда вскопал несколько длинных и узких грядок и что-то там посеял. Каждый раз, идя из дома на мельницу или обратно, он на минуту-другую задерживался у этих грядок, что-то поправляя, взрыхляя, подравнивая. Растаял лед, вода в пруду прибывала наконец, мельница закрутилась. Как ни странно, зерна везли мало, были дни, когда вообще не везли. Освальд по совету Шани перестал брать за помол деньгами, брал только зерном: меру за восемь. Действительно, купить что-то за бумажные деньги стало трудно — их просто не брали. Брали золото, вещи, про-

дукты. Шани как-то, выпив, сказал, что за эти полгода они с дядей учетверили капитал. В мае Освальд поднял цену — стал брать меру за шесть. Его ненавидели, но ничего не могли сделать. В апреле еще на грядках китайца взошло множество самых причудливых ростков. Он не переставал возиться с ними. Иногда он просто сидел возле своих грядок, сосредоточенно прислушиваясь к чему-то. Поскольку его работе на мельнице и по дому это не мешало, Освальд смотрел на его чудачества сквозь пальцы. Странно, однако, было то, что жесточайшие заморозки середины мая, побившие даже ко всему привычную осоку, ростков не погубили.

В конце мая, а может быть, уже в начале июня — Освальд не помнил точно — по дороге, страшно дымя, завывая и подпрыгивая, подъехала и остановилась перед домом черная жестяная машина «гном» — из тех, что в Капери служат такси. Из машинки выбралась закутанная в огромный плащ девочка лет четырнадцати, шофер вынес две перевязанные бечевкой картонные коробки, получил золотой, потоптался, видимо намекая, что одного золотого мало, ничего не дождался и уехал, отчаянно газуя в жидкой грязи, заполнявшей колеи. Освальд подошел к девочке.

— Ты кто? — спросил он.

— Это вы — Освальд? — Она смотрела на него с надеждой.

— Я — Освальд, — сказал он. — А ты все-таки кто?

— Я ваша кузина, — сказала она. — Я из Евтимии. Меня зовут Моника Тенн. Наши мамы были сестрами. Теперь их нет, но все равно я ваша кузина. Это письмо, мама написала его вам за три дня до того, как умерла. Вот.

Освальд взял письмо, уже зная, что там будет. Дорогой племянник, возможно, Вы и не помните меня, но я держала Вас на руках, когда Вы были еще совсем крошкой... памятью Вашей матери, а моей дорогой сестры Барбары... только крайняя нужда заставляет... голод и болезни... будьте ей опорой и защитой... да будет простерта над Вами рука Господня... Ваша любящая тетушка Алиса. Дата, подпись... Освальд посмотрел на девочку. Глаза у нее были мокрые, веки и губы подрагивали. Ситуация... Плевать, подумал Освальд. Потом разберемся.

— Тщи все это в комнату на втором этаже, — сказал Освальд. — Будешь там жить. Готовить умеешь?

Девочка улыбнулась, кивнула, шмыгнула носом, подхватила свои коробки и пошла, путаясь в полах плаща, в дом. Освальд смотрел ей вслед. Дармоедка, нерешительно подумал он. Его охва-

тило вдруг чувство, что все это уже когда-то было и тогда, в прошлый раз, все кончилось плохо.

Сразу перестало хватать воздуха. Дом, уже год такой послушный и пустой, вдруг будто бы приобрел вторую тень, стал, как при отце, неуютным и почти враждебным. Освальд ни на секунду не мог сбросить напряжение, прислушивался к звукам и шагам, медлил, прежде чем войти в какую-нибудь дверь. На столах стали появляться банки и кувшины с букетами полевых цветов. В комнате отца — теперь ее занимала Моника, — как по волшебству, возникло множество разнокалиберных глиняных горшочков с землей, из которой торчало что-то зеленое. Потом китаец и Альбин приволокли туда целую кадку с каким-то деревцем. Получив очередное письмо от отца — отец писал, что сумасшедшего капитана заперли в каюте, но цель — дойти до Северного полюса — решили оставить; поскольку магнитный компас из-за груза железной руды в трюмах показывает все что угодно, кроме сторон света, то рулевому приказали держать курс по Полярной звезде, а чтобы не сбиться даже в пасмурную погоду, Полярную звезду прикрепили к бушприту, и теперь, в какую бы сторону пароход ни шел, он неминуемо попадет на Северный полюс самым кратчайшим путем, — читая это письмо, Освальд машинально вошел в комнату отца, чтобы засунуть письмо за картинку на стене, и увидел, что Моника голая вертится перед зеркалом, подражая тем негротянкам в приборе; когда он вошел, она не завизжала и не задергалась, а взглянула на него через плечо, неторопливо подошла к стулу, на спинке которого висел ее халатик, накинула халатик на плечи, села на стул и стала смотреть на Освальда молча и холодно. Освальд покраснел, скомкал в кулаке письмо и вылетел наружу. Моника постепенно вытеснила китайца с кухни. И позже, наливая Освальду суп в тарелку, она сказала:

— Мама говорила, что я немножечко с приветом. Вы не обращайтесь на меня внимания, пожалуйста.

— Только чокнутых мне тут не хватало, — сказал Освальд.

— Я не чокнутая, — сказала Моника. — Я просто не до конца понимаю некоторые условности.

Между тем на грядах китайца происходило непонятно что. Похоже было, что там все понатыкано вперемешку, лук с горохом, огурцы со свеклой, все это ненормально быстро перло вверх, к солнцу, перло буйно и весело, китаец воткнул в грядки длинные жерди, к ним на высоте своего роста привязал такие же продольные и поперечные перекладины, потом, выше, — еще раз.

Получилось что-то вроде клетки. Как по заказу, рядом с грядками выросли два муравейника, Освальд иногда, забавляясь, смотрел, как муравьи волокут упирающихся гусениц, или дразнил их соломинкой и потом слизывал муравьиную кислоту. Моника каждое утро ставила на стол большую миску мелко нарубленной зелени — это было вкусно. Освальд ел и нахваливал, китаец улыбался. Несколько ночей подряд бомбили Капери. Шани ездил потом туда и сказал, что сгорело полгорода. Освальд стал брать за помол одну меру с пяти. Приезжал староста, уламывал его, угрожал судом. Освальд согласился вернуться к прежней оплате, один к шести, но с условием, что после обмолота управа станет выделять ему работников не только бесплатно, но и со своими харчами. Староста поворчал, но согласился.

В селе появилось много нищих из города: побирались под окнами, крали, если плохо лежало. На мельницу забредали редко. Освальд запретил и Монике, и китайцу давать помногу — чтобы не прикармливать.

В июле навалилась сушь. Где-то горели подожженные леса, солнце даже в полдень было красноватым; закаты по-настоящему пугали. На полях горели посевы, горели травы, трескалась земля. Освальд уже понимал, что урожая не будет. Старухи на хуторах ворожили, пытались вызвать дождь. Шептались, что такая засуха неспроста. По ночам Освальд с китайцем перетаскивали мешки с зерном и мукой из амбара в надежный подвал под домом. На Монику иногда находило: она переставала видеть людей и вела себя так, будто была одна, и нужно было тряхнуть ее посильнее, чтобы привести в чувство. Каждый день она голая купалась в пруду. Китаец в ужасе прятался на мельнице. Освальд смотрел на нее из окна и скрипел зубами от злости и на нее, и на себя. Иногда он ловил себя на том, что испытывает к ней настоящую ненависть — душную и тяжелую. Единственным, что никак не реагировало на жару, было странное хозяйство китайца. Конечно, он поливал грядки, таская воду ведрами из пруда, но какая же это поливка: по два ведра на грядку? На солнышке жухла даже та трава, которая росла у самой воды. Китаец же снимал с длинных вьющихся плетей каждый день по корзине крепеньких, в пупырышках и даже в каплях росы огурчиков, которые Моника тут же солила на зиму. Потом, после огурчиков, пошли какие-то непонятные овощи, размером и формой напоминавшие чайную чашку, — сунцзы; Освальд попробовал их и не одобрил; больше они не появлялись. Китаец исчезал в переплетениях стеблей и выныривал обратно с самыми неожиданными плодами

в руках: так, раз он выкатил огромную желтую дыню. Моника просила инжир, долго пыталась толковать ему, что это такое, китаец приносил что-то похожее, Моника отвергала; наконец принес то, что надо, — фиолетовые мясистые плоды. Моника попробовала, восхитилась и дала откусить Освальду — оказалось непривычно сладко и вкусно. Китаец взял корзину и через пять минут вернулся — уже с полной. Освальд пытался было сунуться следом за ним, но тесно переплетенные стебли не пропускали.

— Нет, хозяин, — сказал китаец. — Не моги. Большой. Надо маленький. Надо я, надо она. Большой не моги.

Как-то раз Освальд захотел грибов — китаец сходил и принес грибы. Моника ставила жареные грибы на стол, когда приехал Шани.

— Еще неделя-другая такого пекла — и ага, — сказал он, входя. — Где это ты грибы взял? Выгорело же все.

— Не все, как видишь, — сказал Освальд. — Садись, пробуй. Пить будешь?

— Только пиво, — сказал Шани.

— Моника, пиво осталось? — спросил Освальд.

Моника молча встала на колени, откинула крышку ледника, нагнулась, дотягиваясь до одной из веревок, привязанных к поперечине; Шани издал какой-то странный хлопающий звук, Освальд посмотрел — Шани, отвесив челюсть, впился взглядом в Моникин зад.

— Тихо, ты, — сказал Освальд.

Шани с трудом оторвался от созерцания, потом посмотрел на Освальда, в восхищении покачал головой и показал оба оттопыренных больших пальца.

Моника выволокла из ледника канистру с пивом, налила полный кувшин и спустила канистру обратно. Потом подала кувшин на стол и поставила три стакана.

— Маленьким девочкам пиво нельзя, — сказал Освальд.

— Жарко, — сказала Моника. Она налила себе полный стакан, выпила, налила еще один и уже маленькими глотками отпила половину.

— Вот это да! — сказал Шани. Она улыбнулась ему.

К концу обеда Моника захмелела. Впрочем, Освальд с Шани — тоже. Пиво было крепчайшее — от Станислава. Шани хихикал непонятно над чем, Освальд чувствовал, что погружается, как в трясину, в бездонную грусть. Моника же расшалилась, бегала по дому и шумела. Освальду опять стало казаться, что это было уже и плохо кончилось.

— Слушай, — Шани ткнул его кулаком в бок, — может, уступишь девочку?

— Иди ты! — сказал Освальд. — Это же моя сестра. Хоть и двоюродная.

— А я что? — сказал Шани. — Я, может, женюсь. Когда подрастет...

— Она ненормальная, — сказал Освальд. — На нее находит... затмение.

— Ну что ты говоришь — ненормальная, — забеспокоился Шани. — Вполне нормальная.

— Увидишь еще, — сказал Освальд. — Я же знаю. Я же с ней живу, не ты.

— Да? — Шани потеревил кончик носа, вздохнул. — Ну ладно...

— Я тебя, может, как друга предостерег. Она чокнутая.

— Все равно этот год не переживем, — с тоской сказал Шани. — Чует мое сердце — перемерем все...

Голая Моника спустилась по лестнице, прошла мимо кухни, где сидели Освальд и Шани, и направилась к пруду.

— Чего это она? — испуганно сказал Шани, глядя на нее через окно.

— Говорю же — чокнутая. Находит на нее — людей перестает видеть. Как лунатик, понимаешь? Как будто нет никого.

— Вот здорово-то, — сказал Шани. — Как бы я это хотел — чтобы никого не было.

— Давай водки выпьем, — предложил Освальд.

— Давай, — сказал Шани.

Из оставшегося в памяти Освальда: Шани водит у него перед носом кривым пальцем и зудит: «А китаеза твой — колду-ун, колду-ун, ой какой колду-ун!..» — Вода в пруду теплая-теплая, даже не мокрая какая-то вода... — Никого нет, только в глаза, как фонарь, светит багровая луна.

Очнулся Освальд от мягких влажных прикосновений к лицу. Он открыл глаза. Тут же от лица его что-то отдернулось в испуге. Непонятно было, где это он. Попробовал подняться — не смог, что-то крепко держало поперек груди и за руки. В страхе рванулся — руки освободились. Перевернулся на живот. От резкого движения что-то сдвинулось в голове, земля заходила ходуном, как студень, — не удержался и повалился на бок. Отлежался, приподнялся, посмотрел кругом: переплетение стеблей и лоз — огород китайца! Отлегло от сердца. Свет пробивался сверху —

лунный; что-то подсвечивало и снизу, Освальд посмотрел в ту сторону: несколько длинных, как свечи, светящихся грибов, свет от них шел яркий, резкий — не чета лунному. В этом свете слева от себя Освальд уловил какое-то шевеление: там, освещенное сзади и сбоку, бугрилось что-то темное и пористое, вроде чуть приподнятой над землей шляпки очень большого и очень старого гриба, и под эту шляпку мелкими вороватыми движениями втягивались тонкие гибкие щупальца... Освальд рванулся так, что затрещала спина, вырвался из-под держащих его стеблей, вскочил на ноги, тут же упал, споткнувшись, и в свете луны увидел, как втягиваются обратно туда, внутрь этой дьявольской клумбы, выбравшиеся наружу стебли — длинные и гибкие, как змеи. Освальд влетел в дом, и здесь его немного отпустило. Здесь были стены. Он достал из ледника остатки пива, припал прямо к горлышку канистры и стал глотать его — ледяное и упругое, глотки проскакивали в желудок как камешки, твердые и тяжелые. После того как пиво кончилось, он был уже твердо уверен: померещилось. Он лег, но уснуть не мог, кошмар возвращался, обрастая все новыми подробностями. Утром он нос к носу столкнулся с Шани, выходящим из комнаты Моника.

— Ты не это... не думай чего, — отводя глаза, забормотал Шани. — Пьяный был, проснулся — возле нее лежу, собрался — и ходу. А ничего не было, это я тебе точно говорю, я хоть и пьяный, а такое-то понимаю...

Освальд чувствовал, как у него леденеют губы и горло.

— Скот... — начал он и задохнулся.

Шани прошмыгнул мимо него, в дверях остановился и обернулся.

— А не только твой китаец колдун, — сказал он. — Все вы тут колдуны...

Моника из комнаты не выходила. Китаец колдовал около огорода: что-то поправлял, подвязывал, Освальд видел, как он качает головой и разводит руками. Ночное видение вновь стало казаться не кошмаром, а действительностью. После обеда приехал работник с одного из дальних хуторов, привез двенадцать мешков пшеницы и сказал, что про мельницу ходят нехорошие слухи, будто мельник и его работник-колдун подпустили засуху, — и нельзя ли в таком разе за деньги докупить еще мешочков пять—десять муки? Освальд заломил цену, работник неожиданно цену принял, золото было у него в кисете вместе с табаком — ударили по рукам, загрузили телегу, работник хлестнул по волам, телега,

повизгивая осями, развернулась и поехала, а Освальд задумался. Надо было срочно что-то делать.

Под вечер приехал почтальон, привез еще одно письмо от отца. Отец писал, что они уже пятый месяц не видят земли, все океан да океан, — видимо, что-то стряслось с американским континентом, так как по расчету координат пароход находится в районе города Денвер, штат Колорадо. Отца, узнав, что он бывший мельник, назначили старшим механиком, потому что в принципе конструкция мельничного привода и паровой машины где-то схожи. Вчера неподалеку от них всплыло какое-то огромное морское животное, на поверхности были видны только глаза, огромные, как мельничные колеса, а потом оно нырнуло и проплыло под пароходом, почесав себе спину о киль, да так, что судно пронзила долгая дрожь, а между некоторыми листами обшивки, там, где давно не обновляли клепку, стала проступать вода, и матросы говорят, что достаточно одного хорошего шторма, чтобы пустить пароход на дно, но все пять месяцев стоит полнейший штиль, и поэтому особенно непонятно, что случилось с Америкой...

Уже стемнело, когда верхом, без седла, прискакал Шани.

— Ты тут придумай что-нибудь, — сказал он Освальду. Голос у него был отчаянный. — Мужики шумят по дворам, хотя тебя завтра жечь идти...

Он залез на лошадь и ускакал в темноту.

Тут Освальд вспомнил, что Альбин сегодня вообще не показывался. Когда Освальд вошел в дом, китаец и Моника сидели за столом. На столе горкой лежали какие-то похожие на грушу плоды, Моника ножом отрезала от одного из них кусочки и отправляла в рот.

— Попробуй, как интересно, — сказала она. — Растет в земле, как картошка, а по вкусу совсем как колбаса.

Освальда передернуло.

Он долго лежал в темноте без сна. Почему-то вспомнился офицер в черном — тогда, зимой... в тот самый день, когда появился китаец... Они не оставили мне выхода, подумал Освальд. Глупо... Когда взошла луна и все стихло, он встал и пошел в чулан под лестницей. Там на полке с инструментом лежала пещня — небольшой ломик с рукояткой, чтобы зимой долбить проруби в пруду. Он взял пещню, взял фонарь «летучая мышь», посмотрел вокруг, что бы такое взять еще, но ничего не нашел. Дорожка до мельницы шла мимо огорода китайца, поэтому Ос-

вальд взял далеко в сторону и потом, в лесу, долго искал выход на плотину. Он тихо прошел по плотине — вода текла по желобу тонюсеньким ручейком, колесо почти не вращалось — и толкнул незапертую дверь мельницы. Там было темно, и Освальд подумал, что надо зажечь фонарь, но забыл, как это делается, — стекло не хотело подниматься. Наконец он справился с ним; ломая спички, зажег фитиль и стал осматриваться. В глазах плавали лиловые пятна. За жерновами, там же, где он в первый раз увидел китайца, стоял топчан, и китаец спал на нем, с головой укрывшись мешком. Освальд подошел ближе. Он был в двух шагах, когда китаец приподнялся на локте и открыл глаза, шурясь от света.

— Драстуй, хозяин, — сказал он. — Приехай привезла?

Освальд молчал. У него сразу отнялось все тело. Он медленно присел и поставил фонарь на пол.

— Серно молоть? — неуверенно спросил китаец и спустил ноги с топчана, нашаривая свои тапочки из старой автопокрышки, и тогда Освальд, что-то закричав, наотмашь ударил его пешней. Удар пришелся по поднятой руке, китаец ахнул и попытался встать, и Освальд опять ударил его, целясь по голове, и опять промахнулся, китаец тонко закричал по-птичьи, и это было так страшно, что Освальд захотел убежать, но вместо этого увидел, как ломик опускается на голову китайца и погружается в череп — неглубоко, но китаец начинает клониться вперед и падает у ног Освальда. Освальд схватил его под мышки и приподнял. Голова китайца запрокинулась, из раны густой струей побежала кровь. Освальд деревянными руками положил его на мешок, закрыл зачем-то другим мешком, стал стирать кровь с пола и с рук... Потом пришел холод. Холодная волна прошла через голову, сдавила виски. Не возясь больше с тряпками, Освальд поднял китайца на руки и вынес наружу. Китаец был легкий, легче мешка с мукой, но неудобный. Освальд донес его до огорода, присел, не выпуская его из рук, отдохнул, потом, напрягшись, резко встал и изо всех сил бросил в заросли. Раздался тяжелый всхлип. Освальд на заплетающихся ногах обогнул огород и, не раздеваясь, плюхнулся в пруд. Он долго просидел в воде, отмывая лицо, руки, одежду. Потом он выбрался из пруда и пошел в сарай. Там была припрятана большая ценность: бочка автомобильного бензина. Освальд подкатил бочку к огороду, выбил чоп и, наливая бензин в ведро, стал методично окатывать растения. Сразу же началось шевеление, треск, шорох. Потом, когда

бензина в бочке почти не осталось, он поднял ее, как китайца, и тоже забросил в заросли. Взял ведро, в котором специально оставил бензину на доньшке, отошел шагов на тридцать, снял рубашку, затолкал ее в ведро. Подождал, когда она пропитается бензином, и бросил в ведро горящую спичку. Пыхнуло огнем, потом загорелось ровно и дымно. Не дожидаясь, когда ведро раскалится, Освальд схватил его и бросил в сторону огорода — и успел упасть на землю, прежде чем рвануло. Его обдало диким жаром, он приподнял голову и посмотрел: крутилось пламя, и в пламени кто-то метался, и стебли, еще живые, пытались расплестись и расползтись, но огонь был слишком жарок, они мгновенно гибли и сами становились причиной огня, а по низу все кто-то метался, и из земли выдирались кривые корни, корчась и съезживаясь в пламени, рушились поддерживающие жерди, и чад стал распространяться по-над самой землей — жирный и сладковатый чад...

Освальд не помнил, как он дошел до дома, как, сдирая с себя все, рухнул на постель, как крутился на раскаленной постели, как вскочил и бросился вверх по лестнице, как Моника кричала: «Нет! Нет! Нет!» — а он схватил ее, оторвал от окна, повалил и подмял... он и помнил это, и не помнил одновременно — знал, что помнит, поэтому боялся вспоминать. Ему хотелось начать жить с того момента, когда он оторвал голову от подушки и увидел, что Моника сидит рядом, поджав ноги, и что-то чертит пальцем на простыне, а по стеклу жадно барабанят дождевые капли.

Часть вторая
Мост Ватерлоо



В этом странном и запутанном деле, которое зовется жизнью, бывают такие непонятные моменты и обстоятельства, когда вся вселенная представляется человеку одной большой злой шуткой, хотя что в этой шутке остроумного — он понимает весьма смутно и имеет более чем достаточно оснований подозревать, что осмеянным оказывается не кто иной, как он сам.

Герман Мелвилл

Пылинки в солнечном луче...

Дальняя комната освещена ярко, а здесь полумрак и прохлада.

Что-то хрустит под ногой, и льется из крана вода.

Дальняя комната вся завалена бумагой, весь пол в бумагах, смятых и не смятых...

Камерон стоит в двери и весь колыхается, как зной, как медуза, как желе на блюде, и кудри его золотой короной... Ворона Камерон. Ворона — рона — она — на! Пылинки в солнечном луче.

Петер!

Это кто-то зовет меня, но я не вижу никого, и только имя отдается в глубинах сердца моего, и только пятна световые ползут по стенам к потолку, и только воды низовые...

Вот именно. И только пить. Пить, есть и спать. Это все, что я могу, хочу и буду.

А женщину?

А, вот это кто! Это Брунгильда. Нет, Брунгильда, спасибо, но в другой раз. Сейчас на повестке дня совсем иные вопросы... Пылинки в солнечном луче...

А Летучий Хрен уже спрашивал про тебя, гудит Камерон, продолжая колыхаться на свету, расплываясь при этом в широоченной улыбке, но уши-то у него все равно просвечивают багровым, и я ничего не могу с собой поделаться, я набираю воду в рот и опрыскиваю его уши. Уши шипят и брызгаются, Камерон недоволен, а я хохочу, потому что... Ворона Камерон докрасна раскаленными ушами доблестно прокладывает себе путь в сугробе, приближая час нашей решительной победы! Летучий Хрен? А хрен с ним! Что ты ему сказал? А надо было правду — приполз, мол, и брык! Готов.

Готов.

Шиш, ребята, рано вы меня списываете в «готов», рано, мы еще повоюем, поборемся и помужествуем с ней, знаете, как это там делается? Подумаешь, неделю не спал, я и еще неделю... Что? Ах, пылинки...

У тебя шнапс есть?

Это Камерон спрашивает Брунгильду конечно, не меня же ему спрашивать что? Молчу, молчу. Но я молчу, так красноречиво тая под взором ваших воспаленных глаз, вздымаемых высоко к небу блестящими во тьме звездами печали, бережно хранимой и возносимой к небесам без тени страха пред томленьем слиянья бешеного тела с душою нежною и кроткой... селедкой, водкой, сковородкой...

Это что, все мне?

Да что вы! Да нет, ребята, я же просто не смогу... это все... ну хватит же... хва...

Дай ему по спине, пусть откашляется. Уже не надо.

...в топор — у-у-уп! Готов. Сплю.

...прикуп — прилипала — приличие — примадонна — примак — приманка — примат — пример — примерка — примета — примесь — примечание — примирение — примитив — примочка — принудиловка — принцесса — принятие — приоритет — припухлость — приспособление — прочее — прочее — прочее... Все на свете слова начинаются на «п», и хоть лопни — на «п» и на «п» и на «п» — и никуда от этих «п» — ну что ты будешь делать, обложили со всех сторон...

— Подъем! — Петера похлопали по плечу.

По периметру периастра поднимались перфорированные портики, по первости принятые паломниками-пломбиривщиками...

— Вставай, скотина! — Его потрянули сильнее. — А то сейчас водой!

— Что? — Петер попытался сесть, не получилось, глаза тем более не открывались, но по команде «подъем» следовало встать и одеться за сорок шесть секунд, потому что команда «подъем» зря не дается...

— Вставай, соня, курорт окончен.

Это Камерон. Ну да, это Камерон, я же вернулся, вернулся и — ха-ха! — кое-что привез! Ну да.

— Сколько времени?

— Семь вечера. И учти, что это уже завтрашний вечер.
— Как это?
— А так, что тебе дали поспать — ну ты и поспал.
— Сутки? — не поверил Петер.
— Тридцать один час. Абсолютный рекорд редакции.
— Врешь ведь.
— Чтoб я сдох! — поклялся Камерон. — Вчера пытались тебя будить, но ты заехал Летучему Хрену в нос, и он велел оставить тебя в покое. А сейчас позвонил и очень тебя хочет. Ночью бомбежка была — не слышал?

— Ничего я не слышал... А мой материал?
— Экстра! Ультра! Супериор! Он сам монтировал и был близок к оргазму, его просто успели вовремя отвлечь...
— Но я голоден!
— Он сказал, что все будет.

Летучий Хрен принял Петера с распростертыми объятиями. Это на памяти Петера еще никогда добром не кончалось. Всегда за этим следовало что-нибудь... мм... экзотическое. А тут еще и тон разговора: и гениален-то у нас один Петер Милле, и потери в личном составе огромные, аж пять человек (двоих завалило при бомбежке, один стал заговариваться, и еще две машинистки не убереглись и забеременели), а учитывая, что задача под силу лишь подлинному таланту, так она грандиозна и значительна, тем более что через завесу секретности кое-что просачивается, и он, Летучий Хрен, глядишь, и плюнул бы на все и поехал сам, но — приказ есть приказ, он вынужден подчиняться... Петер сразу понял, что параша не избежать, поэтому сидел тихо, в ударных местах кивал и думал, как это все обернется с Брунгильдой, — а надо ли, чтобы оно как-то оборачивалось? — и не таких видали, — а жаль...

— Итак, — бодро продолжал Летучий Хрен, — группу будем формировать заново, потому что пополнение прибыло и следует пускать его в дело, а Варга твой уже оперился и ему пора давать работать самому, возьмешь двух новеньких, я их тебе покажу, и еще должен приехать какой-то из министерства пропаганды — будет старшим. Сам понимаешь, что старшим он будет только формально, потому что — ну что чиновник может смыслить в наших делах? Остальное ты знаешь все, готовься, послезавтра — адью!

— Я есть хочу, — сказал Петер.

— Тебя что, Камерон не накормил? Плохо. Бездельник. Ада! Ада! Где тебя черти носят? Накорми Милле, он у нас нынче герой. Ест он все и помногу, но ты придумай ему что-нибудь повкуснее, только чтобы не обожрался, он мне живой нужен...

Ада увела Петера в машбюро и там под стрекот десятка машинок соорудила ему гигантскую яичницу на сливочном масле. Пока Петер ел, она сидела напротив и, пригорюнясь, смотрела на него. Аде было под шестьдесят, но и в эти годы она оставалась машинисткой экстра-класса; ее подобрал где-то Камерон и пристроил в редакцию в обход всех приказов и правил, никто не знает, как это ему удалось. Ада натаскивала девочек-машинисток, сама вкалывала наравне со всеми да еще умудрялась каким-то чудом обихаживать всех, до кого успевала дотянуться. Камерон ею страшно гордился.

— Спасибо, Ада, — сказал Петер, подчищая сковороду корочкой хлеба.

— Что за несчастье!.. — сказала Ада и больше ничего не сказала, молча убрала со стола и молча ушла куда-то.

Новеньких Петер нашел в канцелярии. Прелесть что за новенькие: бледные, коротко стриженные, курносые, угловатые, в коротеньких солдатских мундирчиках шестого срока носки с наспех нашитыми жесткими погонами с парадными золотыми офицерскими коронами. Петер разыскал Менандра — тот, кот помойный, сговаривался с поварихой — и погнал его за новой формой для пацанья. Переодетые, они преобразились, и Петер стал улавливать кой-какие отличительные признаки: один чуть покрупнее, медлительнее, глаза голубые — лейтенант Армант; другой тоньше в талии, гибкий и быстрый, глаза темные, лицо и руки нервные — лейтенант Шанур. Петер поставил их перед собой и толкнул речь.

— Значит, так, — сказал он. — Вы поступили в мое распоряжение, и теперь я что захочу, то с вами и сделаю. Это ваше счастье. Я — майор Петер Милле, по должности — режиссер-оператор, по сути — та ось, вокруг которой вертится все это заведение. Послезавтра мы с вами отбываем куда-то к черту на рога снимать то, не знаю что. Поэтому сегодня и завтра будете упражняться с аппаратурой. По службе я для вас «господин майор», вне службы и по вопросам ремесла — Петер. Сейчас пойдете к майору Камерону, он вас экипирует, в смысле — выдаст аппаратуру и пленку. Тренируйтесь. Я буду проверять. Можете идти.

Новоиспеченные хроникеры вразнобой повернулись и вышли.

— Менандр! — позвал Петер.

— Мм?

— Найди мне какие-нибудь ботинки и пары три носков.

— Опять пропить изволили?

— Только подошву, верх решил оставить.

— Беда мне с вами, господин майор, как огнем на вас все горит... Знаете, я тут одного интенданта раздоить хочу, у него несколько пар есть — видели, такие высокие, на крючках — итальянские? Но нужен шнапс. А ботиночки что надо, главное — крепкие, нашим не чета.

— Бутылки две ему хватит?

— Бог с вами, одной за глаза будет. Шнапс — это же не для обмена, это же для смазки. Я вам тогда пока старые дам, разношенные, а завтра к вечеру принесу те. Хорошо?

— Конечно.

— Но все равно не пойму, как вы умудряетесь так обувку уродовать? Господин полковник за все время одну только пару износил, сейчас вторую изволит...

— Вот потому, Менандр, все и стремятся зарабатывать побольше корон: чем больше корон, тем меньше забот об обуви.

— Ваша правда, господин майор, но все-таки как вы — ну никто так больше не может...

Менандр был пройдоха из пройдох — такой пройдоха, что Петер его даже побаивался... ну не то чтобы побаивался, а так — стеснение испытывал. Скажем, прямые обмены Менандр презирал — как нечто примитивно-низменное, все комбинации его были многоходовыми и чрезвычайно сложными; пару раз он пытался растолковать Петеру смысл той или иной сделки, и Петер приходил в состояние полнейшего обалдения перед хитросплетениями ходов и выгод, с точки зрения Менандра, совершенно простыми. Полезен же Менандр был чрезвычайно, так как мог все. Среди офицеров поначалу возникла мода заключать пари на Менандра, выдумывая самые невероятные предметы, якобы необходимые для редакции, но мода эта быстро прошла, исчерпав все ресурсы фантазии. Кажется, последним, что Менандр достал (в результате этого коллекция коньяков Летучего Хрена перешла в собственность Камерона), был незаполненный, но подписанный и испещренный печатями пропуск на территорию Императорского дворца.

— Петер! — раздалось над ухом, и, конечно, кулаком по хребту, и за плечи потрясли, и опять кулаком, уже под ребра, — ну конечно, это был Хильман, кто же еще? — Петер, старина, сколько лет, сколько зим!

Хильман, откуда-то вылетевший чертиком, чтобы, ошарашив своим появлением, сгинуть, — такая уж у него была натура. Когда-то они с Петером три дня болтались в море на сторожевике, Петер ничего снять не смог, а Хильман сделал замечательный очерк, Петер потом прочел его и посмеялся про себя: в очерке было все, кроме того, что было на самом деле. Там-то, на сторожевике, Хильман и ошеломил Петера замечательной фразой о друзьях, а именно: «У меня этих друзей, — сказал он, — ну тысячи три, не меньше». — «А я?» — спросил тогда Петер. «И ты, конечно», — сказал Хильман. «Понятно», — сказал Петер; ему на самом деле все стало понятно. «Ты что, не веришь? — обиделся Хильман. — Да я для тебя — все что угодно...» — «Спасибо, Хильман, — сказал Петер. — Верю». Хильмана звали Роем, но все почему-то называли его только по фамилии.

— Что ты здесь делаешь? — спросил Петер.

— Послали, — сказал Хильман. — Сказали, у вас тут что-то намечается. В смысле — отсюда поедете.

— И ты с нами? — спросил Петер.

— Ага. Ты чем-то расстроен?

— Не знаю, — сказал Петер. — Нет, наверное. Просто устал. Вчера... пардон — позавчера вернулся, хотел поработать здесь... Опять без меня монтируют. Ты бы дал кому-нибудь свои блокноты, чтобы они там все по-своему переставляли?

— А никто не просит, — сказал Хильман. — Хорошо попросили бы если — может, и дал бы.

— А меня вот гложет... Да нет, просто устал.

— Когда ехать-то?

— Не знаю. Приедет какой-то шишковатый из министерства, скажет.

— Мне намекнули, — сказал Хильман, — что все это не на одну неделю и куда-то в тыл. Представляешь?

— В тыл-ы? — недоверчиво протянул Петер. — Что-то ты путаешь, старик.

— Ничего я не путаю. Что я, нашего главного не знаю? Он когда губу вот так делает — то на передовую. А если вот так — то или флот, или тыл. Проверено.

— Твои бы слова — да Богу в уши, — сказал Петер.

Он не знал, почему это невозможно, но это было действительно невозможно — войти к Летучему Хрену и сказать: «Знаешь, я страшно устал. Мне надо отдохнуть, потому что, если я не отдохну, я сломаюсь по-настоящему. Я очень устал». Странно, конечно, но он точно знал, что это невозможно, хотя никто и никогда не пытался этого сделать. Небеса бы обрушились, если бы кто-то попытался сказать это Летучему Хрену. Молния бы сорвалась с ясного неба...

— ...вечером, — сказал Хильман, это он приглашал на коньяк, и Петер кивнул: «Хорошо», но вспомнил Брунгильду и добавил: «Посмотрим». Хильман опять легко обиделся и легко распростился с обидой. «Да приду я, приду», — успокоил его Петер, и, по своему чертикову обыкновению, Хильман пропал мгновенно — только пыль взметнулась над тропею, только стук копыт отдался эхом...

Новенькие занимались с аппаратурой, и Камерон, который маячил тут же, исподтишка показал Петеру большой палец.

Петер лег, не разувааясь, задрал ноги на спинку кровати. Неизвестно еще, какими окажутся обещанные итальянские ботинки, а эти надо оставить себе: мягкие, легкие, нигде не давят, не трут и не хлябают... Он задремал и проснулся от голосов.

— Потому что это дрянь, дрянь, дрянь! — шепотом кричал один из новичков. — Потому что мне страшно подумать, что будет, если мы победим!

— А что будет? — говорил второй. — Ничего нового не будет. Зато наверняка объявят амнистию, и все твои драгоценные...

— Да разве в этом дело! Ты вдумайся: победит система, для которой главным в человеке является что? Ум? Совесть? Деловитость, может быть? Нет. Тупость, исполнительность и форма черепа. Все. Представляешь, что из этого получится лет через пятьдесят? Это же конец, конец...

— Тихо, ты, слышат.

— Боишься? А представляешь целое поколение, которое всего боится? Прелесть, а? А ведь они этого добиваются — и добьются. Каждый не от слов своих, не от дел — от мыслей вздрагивать будет! Не дай бог, догадается кто! Хочешь такого?

— Перестань, правда. Ну что — тебе ответ нужен? Так я не знаю ответа...

Ай да ребятки мне достались, подумал Петер. Это что же с молодежью-то делается? А, Петер?

Он встал, пошумел немного, чтобы не подумали чего, и вышел к ним, потягиваясь.

— Вольно, мужики, — сказал он, предупреждая их позыв бросить камеры и встать. — Начинаем зачет. Итак, на время: зарядить камеры!

Мужики чуть суетились, но справились с этим делом вполне прилично.

— Теперь пошли на натуру.

Петер увел их в развалины неподалеку и заставил снимать друг друга, непрерывно перебегая и заботясь при этом о собственной безопасности. Чтобы создать кой-какие иллюзии, он щедрой рукой разбрасывал взрывпакеты и два раза пальнул шумовыми ракетами — есть такие, с сиреной; вторая из этих ракет заметалась рикошетами по двору и произвела впечатление на него самого. Потом, придерживая за пояса, чтобы не разбрелись и не попадали, он отвел ребят в лабораторию. Пленку проявили мигом, девочки-лаборантки были на высоте; тут же зарядили проектор и стали смотреть, что получилось. На экране что-то возникало и металось, обычно не в фокусе, три-четыре раза появлялся и пропадал человек с камерой в руках, невозможно было понять, кто именно, мелькали тени, дымки разрывов, стены, небо, упорно вновь и вновь появлялась в кадре торчащая из груды щебня балка с кроватной сеткой наверху... Вторая пленка была не лучше, только один кадр годился — это когда оператор снимал его самого с ракетницей в руках в момент выстрела: черненький дьявол, разбрасывая огонь и дым, рванулся прямо в объектив... Петер несколько раз прокрутил это место. Дальше шла прежняя неразбериха, но это было хорошо.

— Это хорошо, — сказал он. — Рука не дрогнула.

— Не успел испугаться, — сказал темноглазый — Шанур.

— Это хорошо, — повторил Петер. — Рука должна быть твердой. Даже если снимаешь собственный расстрел.

Он гонял их по этому полигону еще трижды. Лучше не становилось, но это от усталости, к концу дня оба ног не переставляли, зато завтра, когда отоспятся, уже не будут вздрагивать и торопиться...

Брунгильда как сквозь землю провалилась, он так и не нашел ее, и с оставшейся бутылкой шнапса Петер заявился в гости. Хильман поселился у Бури, инженера-оптика; Бури занимал длинную, как вагон, комнату в полуподвале, свободное место у него было всегда, и постояльцам он был рад.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Колдун	7
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Мост Ватерлоо	25
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Атракцион Лавьери	197
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. Путь побежденных	231
ЧАСТЬ ПЯТАЯ. Приманка для дьявола	307
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. Жестяной бор	373
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ. Солдаты Вавилона	501

Лазарчук А.

Л 17 Опоздавшие к лету : роман / Андрей Лазарчук. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. — 768 с. — (Мир фантастики). ISBN 978-5-389-14981-6

«Опоздавшие к лету» — одно из важнейших произведений в фантастике последних десятилетий, хороший читатель поймет, что имеется здесь в виду. Фрагментарно опубликованный в 1990 году и вышедший в полной версии шесть лет спустя, роман задал высокую планку как самому автору, так и всей литературе того направления, которое принято называть фантастикой. Сам писатель понимает свою задачу так: «Я принадлежу к тем, кто использует фантастический метод изображения внутреннего пространства человека и окружающего пространства. В моем понимании фантастика — это увеличительное стекло или испытательный полигон для реального человека и человечества». И еще, его же слова: «Использование фантастики как литературного приема позволяет обострить читательское восприятие. Следование „мэйнстримовским“ литературным законам дает высокую степень достоверности. Корнями эта литература уходит в глубь веков, а на ветвях ее сидят, как русалки, Апулей с Кафкой, Гоголь с Маркесом и Мэри Шелли с Булгаковым в обнимку... А если серьезно, я пишу то, что хотел прочитать, но не смог — поскольку еще не было написано».

Про премии говорить не будем. Их у Лазарчука много. Хотя почему нет? Ведь премия — это знак признания. И читательского, и круга профессионалов. «Великое кольцо», «Бронзовая улитка», «Еврокон», «Интерпресскон», «Странник», «Золотой Остап»... список можно продолжить дальше. Ну и мнение братьев-писателей для полноты картины: «Лазарчук — фигура исключительная. Штучная. До последнего времени он оставался единственным (прописью: ЕДИНСТВЕННЫМ) российским фантастом, который регулярно и последовательно продолжал: а) писать востребованную публикой фантастику; б) максимально при этом разнообразить жанр своих вещей, не повторяясь, не впадая в грех тупой сериальности, всегда экспериментируя» (А. Гаррос, А. Евдокимов).

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-445

Литературно-художественное издание

АНДРЕЙ ЛАЗАРЧУК
ОПОЗДАВШИЕ К ЛЕТУ

Ответственный редактор Александр Етоев
Художественный редактор Сергей Шикин
Технический редактор Татьяна Раткевич
Компьютерная верстка Ирины Варламовой
Корректоры Валерий Камендо, Маргарита Ахметова
Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 28.06.2018. Формат издания 60 × 90 ¹/₁₆.
Печать офсетная. Тираж 3000 экз. Усл. печ. л. 48. Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)
Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1,
комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru



И-МФФ-23349-01-Р

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве:

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01,

факс: (495) 933-76-19

e-mail: sales@atticus-group.ru;

info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге:

Филиал ООО

«Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55,

факс: (812) 327-01-60

e-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве:

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01

e-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах:

www.azbooka.ru,

www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей
и творческого сотрудничества

размещена по адресу:

www.azbooka.ru/new_authors/